
Ведьма из Сызрани
Не забудь
Фотоателье «Момент» с 1948
Студия «Отпусти»
Практики расхламления
Освобождение от прошлого
Новая ты
Смешная и тёплая история о памяти, бабушках и о том, что «отпустить» и «забыть» — не одно и то же.
Гроссбух

Милана Панова

Ведьма из Сызрани. Не забудь

«Автор»
2026

Панова М.

Ведьма из Сызрани. Не забудь / М. Панова — «Автор», 2026

В бывшем фотоателье «Момент», где семьдесят пять лет снималась вся Сызрань, открывается студия «Отпусти». Босоногая коуч Виолетта Лёгкая учит горожан выбрасывать старые альбомы, сжигать письма и забывать прошлое. Люди уходят от неё лёгкими. А потом не могут найти дорогу домой.Михеич теряется по пути за кефиром. Зинаида Павловна не узнаёт мужа. Бабушкины записи в Гроссбухе бледнеют, а кот Модест забывает, какую сметану он ест. Зато город возвращает потерянное: значки, насосы, пуговицы. По ночам их разносит хозяевам трёхлетний Алёша.На Дмитриевскую субботу Виолетта назначает костёр из архива «Момента». Чтобы спасти город, Василисе придётся спуститься туда, где хранится всё забытое.Смешная и тёплая история о памяти, бабушках и о том, что «отпустить» и «забыть» — не одно и то же.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Отворот от памяти 6
Глава 2. «Отпусти» 10
Глава 3. Реклама 13
Глава 4. Алёшины сокровища 16
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Милана Панова
Ведьма из Сызрани. Не забудь

Ведьма из Сызрани. Не забудь
Серия «Ведьма из Сызрани». Книга одиннадцатая

Глава 1. Отворот от памяти

В октябре две тысячи тридцать первого года к Василисе пришли за отворотом. Не от мужчины. От памяти.

Клиентку звали Кристина. Двадцать девять лет, администратор фитнес-клуба «Атлант», ресницы как у куклы, телефон в чехле с ушками. Она села на табуретку, положила телефон экраном вниз и сказала:

— Мне надо его забыть.

— Кого? — спросила Василиса.

— Артура. — Кристина поджала губы. — Мы четыре года встречались. Он ушёл. К Карине. Из бухгалтерии. — Пауза. — Я его удалила. Везде. Из друзей. Из подписок. Из облака. Фотографии — все. Две тысячи сто сорок штук. Переписку — тоже. — Она посмотрела на Василису. — А из головы — не удаляется.

— Понимаю, — сказала Василиса.

— Сделайте, чтобы я его не помнила. Совсем. Как будто его не было. — Кристина достала из сумочки конверт. — Я заплачу. Пять тысяч. Мне сказали, вы недорого берёте.

Модест на печке открыл один глаз.

— Пять тысяч, — сказал он. — За четыре года. Дёшево она себя ценит.

Кристина, разумеется, услышала «мяу».

Василиса посмотрела на нитки. Повернула ручку настройки — внутри, где-то за глазами, как бабушка учила.

Нитка от Кристины к Артуру была. Тонкая, серая, растрёпанная на конце. Оборванная. Но не это было главное. От Кристины во все стороны тянулись другие нитки — к маме, к подруге Ксюше, к собаке породы шпиц по имени Бублик, к морю в Анапе две тысячи двадцать восьмого года, к пицце с ананасами, к песне, под которую они с Артуром танцевали на свадьбе у Ксюши. И все эти нитки — Василиса видела — были завязаны с той, серой. В один узелок. Маленький, тугой.

Выдернешь серую — потянутся все.

— Кристина, — сказала Василиса. — А на свадьбе у Ксюши вы танцевали?

Кристина вздрогнула.

— Откуда вы знаете?

— Я ведьма. — Василиса помолчала. — Если я уберу Артура, вы забудете и свадьбу. И Ксюшу немножко. И Анапу. И ещё, кажется, собаку.

— Бублика?! — Кристина побелела. — Бублик тут при чём?

— Вы его вместе брали?

Кристина молчала. Долго.

— Вместе, — сказала она наконец. Тихо. — В питомнике в Тольятти. Артур его на руках нёс. Всю дорогу. Он маленький был. Бублик. Не Артур.

— Вот, — сказала Василиса. — Память — это не фотография. Её нельзя удалить. Одну. Отдельно. Она как варенье — всё в одной банке.

Кристина посидела. Потом взяла конверт. Покрутила в руках.

— А что тогда делать?

— Не забывать, — сказала Василиса. — Отпустить.

— А это не одно и то же?

Модест на печке сел. Обвил лапы хвостом.

— Нет, — сказал он. — Забыть — это когда вещь потерял. А отпустить — это когда положил на место.

Василиса перевела. Своими словами.

Кристина ушла. Задумчивая. Конверт оставила на столе — Василиса догнала её у калитки и сунула обратно. Калитка при этом пропела короткую ноту, похожую на «правильно».

Василиса записала в Гроссбух: «Кристина Д. Хотела забыть Артура. Бублик. Анапа. Отпустить ≠ забыть (Модест). Оплата: никакой. Придёт ещё».

— Придёт, — согласился Модест. — Такие приходят. Через полгода. С Бубликом.

— Почему с Бубликом?

— Потому что ей будет некому про него рассказать, — сказал кот. — А тут — я. Я про шпицев много чего могу рассказать. Ничего хорошего.

Вторая странность случилась в тот же вечер.

Зинаида Павловна пришла без блокнота. Это было само по себе тревожно: Зинаида Павловна Уткина-Боброва без блокнота не ходила даже в баню. Она вошла на кухню, села, положила на стол что-то маленькое, круглое, красное.

Значок.

Комсомольский. С профилем. Эмаль облупилась по краю.

— Вот, — сказала Зинаида Павловна.

— Что — вот?

— Я его потеряла, — сказала Зинаида Павловна, — в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году. На картошке. В совхозе «Красный пахарь». Искала два дня. Всем отрядом. Не нашли. Мне за него выговор хотели дать. — Пауза. — А сегодня утром он лежал у меня в теплице. На грядке с перцем. Сверху. Как будто кто-то положил.

Василиса посмотрела на значок.

От значка шла нитка. Тонкая. Очень старая. Почти прозрачная. И уходила — не к Зинаиде Павловне. Вниз. В пол. Сквозь пол.

— И это не всё, — сказала Зинаида Павловна. — Михеич нашёл насос. Велосипедный. Который у него в семьдесят четвёртом году украли. Он тогда на соседа думал. Сорок семь лет не здоровался. — Она помолчала. — Насос лежал на крыльце. У Михеича. Сегодня. С его фамилией на ручке. Он её гвоздём выцарапал. В детстве.

— А сосед?

— Сосед умер в девяносто девятом, — сказала Зинаида Павловна. — Михеич сейчас пошёл на кладбище. Извиняться. С насосом.

На кухне стало тихо.

Фрол Евсеич — он теперь жил под печкой, говорил, что там «как в бомбоубежище, только с телевизором», — высунул голову. Посмотрел на значок. Долго.

— Возвращается, — сказал он.

— Что возвращается?

— Потерянное. — Домовой почесал бороду. — Такое бывает. Редко. Я раз видел. В тысяча восемьсот девяносто первом. Голодный год. Тогда по всей Сызрани находили. Пуговицы. Кольца. Ложки серебряные. Письма. — Пауза. — Агафьина прабабка говорила — «снизу выталкивает». Полно там. Места нет.

— Где — там?

Фрол Евсеич посмотрел на неё. Потом на Модеста. Потом снова на неё.

— Внизу, девка, — сказал он. — Где всё, что забыли.

И залез обратно под печку. Сделал телевизор погромче. Там шло «Поле чудес». Ведущий спрашивал у учительницы из Кинеля, как назывался в старину сундук для приданого.

Учительница не помнила.

Модест на печке молчал. Смотрел на пол. На половицы у буфета.

— Васёна, — сказал он наконец.

— Мм?

— Помнишь, что Агафья сказала? Про Баюшку?

Василиса помнила. Модест рассказывал прошлой зимой. «Под всякой кроватью — Баюшка. А под всяким Баюшкой — то, что все забыли».

— Ты говорил, ты думал — она про носки.

— Думал, — сказал Модест. — Двести двадцать один год. А думал про носки. — Он лёг. Положил голову на лапы. — Носки, Васёна, не возвращаются. Никогда. Это я точно знаю. А значки — возвращаются. Значит, это не про носки.

Ночью Василиса проснулась от тишины.

Сначала не поняла, что не так. Егор спал рядом — на боку, лицом к стене, как всегда, когда приходил со смены. Модест спал в ногах у Гаши. Устя пряла за печкой — шуршало веретено. Фрол Евсеич храпел под печкой. Баюшка в детской пел — тихо, тепло, без слов.

А потом поняла.

Алёша не спал.

Она встала. Прошла в детскую. Босиком. По холодным половицам.

Гаша спала — раскинувшись, поперёк кроватки, с Модестовым хвостом в кулаке. Модест терпел. Он всегда терпел.

Алёша лежал на животе. Свесив руку вниз. Под кровать.

Глаза — открыты.

Баюшка сидел на ковре с медведями. Большой, серо-бурый, тёплый. Пел. И смотрел на Алёшину руку. С тревогой.

— Алёша, — шёпотом сказала Василиса. — Ты чего не спишь?

Алёша посмотрел на неё. Серьёзно. Как Еремей Касьянович поверх монокля. Ему было три года и восемь месяцев. Он говорил мало. Зато всегда — по делу.

— Слушаю, — сказал он.

— Кого?

Алёша подумал. Поискал слово. Он всегда долго искал слова — как будто выбирал из большой кучи самое подходящее.

— Дедушку, — сказал он.

— Какого дедушку?

— Который внизу. — Алёша зевнул. — Он грустный. У него много всего. А его никто не помнит.

И уснул. Сразу. С рукой, свешенной под кровать.

Василиса постояла. Посмотрела на Баюшку.

Баюшка перестал петь.

— Я туда не хожу, — сказал он. Тихо. Как будто оправдывался. — Никогда не ходил. Под-кроватье — моё. А под ним — не моё. — Пауза. — Там тепло стало. С неделю уже. Раньше было холодно. А теперь — тепло. Как будто кто-то проснулся.

Василиса присела на корточки. Положила ладонь на пол. Рядом с Алёшиной рукой.

Пол был тёплый.

Не от батареи. Батарея была у окна. И не от печки. Печка была в другой комнате.

Тёплый — снизу.

И где-то там, глубоко-глубоко, под половицами, под фундаментом, под старым сызранским суглинком, — Василиса почувствовала, — кто-то вздохнул. Тяжело. Как человек, который несёт слишком много.

И что-то маленькое, круглое, лёгкое — толкнулось ей в ладонь. Сквозь пол.

Она подняла руку.

На полу лежала пуговица. Перламутровая. Старинная. С четырьмя дырочками.

Василиса узнала её сразу. Хотя никогда не видела.

С бабушкиного белого платья. С того, свадебного, пятьдесят девятого года. Верхняя пуговица. У самого воротника.

Которой на платье — Василиса проверяла этим летом, перед телевидением, когда Анжела подшивала, — не было.

Глава 2. «Отпусти»

Фотоателье «Момент» на углу Советской и Комсомольской работало с тысяча девятьсот пятьдесят шестого года.

Там фотографировалась вся Сызрань. На паспорт. На доску почёта. На свадьбу. На выпускной. С новорождённым. С дембеля. В последний раз — тоже там. Для памятника. Бабушка Агафья фотографировалась в «Моменте» в пятьдесят девятом, в белом платье, с дедом. Фотография стояла у Василисы на комоде. Дед — серьёзный, с чубом. Бабушка — смеётся. На обороте фиолетовый штамп: «Фотоателье „Момент“. Сызрань. Негатив хранится».

Негатив хранился. Семьдесят пять лет. Весь архив — в подвале. Стеклянные пластинки, плёнки, конверты с фамилиями. Последний фотограф, Лев Аронович Гуревич, умер в позапрошлом году в девяносто четыре года. Ателье стояло закрытым.

А в октябре в нём открылась студия «Отпусти».

Василиса узнала об этом от Люды из «Продуктов 24».

— Ведьма, — сказала Люда. Без «здрасьте». С порога. — Там у «Момента» очередь. С утра. С пакетами.

— С какими пакетами?

— С мусорными, — сказала Люда. — Сто двадцать литров. Чёрные. Тётки несут. Альбомы. Письма. Открытки. Платья. — Пауза. — Моя свекровь понесла. Свадебное. Своё. Семьдесят восьмого года. Сказала — «тянет меня назад». Я её спрашиваю — куда назад, Галина Фёдоровна, вам семьдесят три, вам вперёд-то куда? А она — «к лёгкости».

Модест на подоконнике медленно повернул голову.

— К лёгкости, — повторил он. — Ну всё. Началось.

Василиса пошла посмотреть. С Гашей и Алёшей — их не с кем было оставить: Егор на смене, Устя днём спала, Фрол Евсеич за детьми присматривать отказывался принципиально, говорил, что «у меня в договоре такого нету». Модест пошёл сам. В сумке. Сказал — «одна туда не пойдёшь, там пахнет».

Пахло лавандой.

Витрина «Момента» была заклеена белой плёнкой. По плёнке — тонкими серыми буквами: «ОТПУСТИ. Студия осознанной лёгкости». Ниже, мельче: «Марафон „21 день без прошлого“. Старт — каждый понедельник».

У двери стоял контейнер. Синий. Мусорный. Большой — такие ставят на стройках.

Контейнер был полон.

Василиса подошла. Посмотрела.

Альбомы. Бархатные, с золотым тиснением, с надписью «Наша свадьба». Альбомы с котятами на обложке. Альбомы самодельные — картон, обтянутый ситцем. Пачки писем, перевязанные бечёвкой. Открытки — «С 8 Марта!», «С Новым, 1981 годом!». Детские рисунки. Тетрадки в косую линейку. Шкатулка с молочными зубами — Василиса узнала, у неё в детстве была такая же, мама хранила. Вязаные пинетки. Погоны. Чей-то дембельский альбом — с нарисованным танком и надписью «Прощай, Кушка!».

И от каждой вещи — Василиса видела — тянулась нитка.

Тонкая. Тёплая. Живая.

И — обрезанная.

Не оборванная, как у Кристины. Обрезанная. Ровно. Как ножницами. И обрезанный конец — Василиса присмотрелась — не висел в воздухе. Он медленно, очень медленно, уходил вниз. В асфальт. Сквозь асфальт.

Как вода в песок.

— Мама, — сказала Гаша. Она стояла у контейнера и смотрела на него. Нахмурившись. Как Евдокия Марковна. — Там дедушка плачет.

— Какой дедушка?

Гаша показала пальцем. На фотографию — она лежала сверху, без рамки. Мужчина в военной форме. С орденом. Чёрно-белый. Улыбается.

Фотография не плакала. Это была просто фотография.

Но нитка от неё — Василиса видела — дрожала.

— Здравствуйте!

Голос был мягкий. Тихий. Ровный. Как у человека, который ведёт аудиокнигу для засыпания.

Из двери «Момента» вышла женщина.

Лет тридцати пяти. Высокая. Тонкая. Вся — светлая. Льняной брючный костюм цвета овсянки. Светлые волосы, гладкие, собранные в низкий узел. Никаких украшений. Никакой косметики — или такая, которую не видно. Босиком. В октябре. На асфальте.

Глаза — серые. Очень спокойные.

— Вы к нам? — спросила она. Улыбнулась. Улыбка тоже была мягкая. Беззвучная. — Я Виолетта. Виолетта Лёгкая. — Пауза. — Это не псевдоним. Это состояние.

Модест в сумке издал звук. Похожий на кашель.

— Мы не к вам, — сказала Василиса. — Мы мимо.

— Мимо — тоже путь, — сказала Виолетта. И посмотрела на детей. — Какие лёгкие. Дети — они ещё не набрали. Им нечего отпускать. — Она присела перед Гашей. — Привет. Как тебя зовут?

Гаша посмотрела на неё. Долго. Нахмурившись.

— У тебя ниток нет, — сказала она.

Виолетта засмеялась. Мягко. Беззвучно.

— Нет, — сказала она. — Я все отпустила. Это и есть свобода.

Василиса повернула ручку настройки.

И отступила на шаг.

У Виолетты Лёгкой действительно не было ниток.

Почти. Несколько — к телефону, к студии, к марафону, к деньгам — тонких, холодных, натянутых, как леска. И всё. Ни к маме. Ни к дому. Ни к городу. Ни к одному человеку. Ни к одному месту. Ни к одной вещи старше трёх лет.

Василиса видела много людей. Злых. Жадных. Одиноких. Несчастных. У всех были нитки. Пусть серые. Пусть перекрученные. Пусть оборванные. У Анжелики Звёздной — и то были. У ревизорши Вольской — были. У Строговой с её методикой — были.

У Виолетты Лёгкой на месте ниток было гладко.

Как у новой куклы.

— Вы ведь местная? — спросила Виолетта. Поднимаясь. — У вас лицо… нагруженное. — Она чуть наклонила голову. — Вам тяжело. Я вижу. Вы несёте очень много. Чужого. Старого. Чьих-то бабушек. — Пауза. — Приходите на марафон. Первый день — бесплатно. Мы начинаем с простого. С одной вещи. Одна вещь, которая тянет вас назад. Вы приносите её сюда. Кладёте в контейнер. И говорите: «Отпускаю». — Она улыбнулась. — Это так легко. Вы не представляете.

— Представляю, — сказала Василиса.

— Нет, — мягко сказала Виолетта. — Не представляете. Если бы представляли — уже бы пришли.

Из двери «Момента» вышла женщина. Пожилая. В пальто с каракулевым воротником. С пустым мусорным пакетом в руке. С таким лицом, как будто она только что очень долго плакала, а потом перестала. Совсем. Насовсем.

— Спасибо, Виолетта Сергеевна, — сказала она. — Так легко. Правда.

— Это не я, — сказала Виолетта. — Это вы.

Женщина пошла по Советской. Медленно. Улыбаясь.

Василиса посмотрела ей вслед. На её нитки.

Их было мало. Очень мало. И с каждым шагом — Василиса видела — становилось ещё меньше. Они не рвались. Они просто — гасли. Одна за другой. Как окна в доме, где все ложатся спать.

— Мама, — сказал Алёша.

Он стоял у контейнера. Держал в руках что-то маленькое. Василиса не заметила, когда он успел достать.

Стеклянная пластинка. Негатив. Из подвала «Момента» — на краю конверта было написано карандашом: «1959. Кругловы. Свадьба».

— Это наше, — сказал Алёша. Серьёзно. — Я заберу.

Виолетта посмотрела на пластинку. Потом на Алёшу. Мягко. Спокойно.

— Это архив, — сказала она. — Его здесь семьдесят лет хранили. Представляете, сколько тут прошлого? Тонны. Подвал до потолка. — Пауза. — Мы его отпускаем. В понедельник приедет машина. Весь архив. — Она улыбнулась Алёше. — Возьми, если хочешь. Тебе ещё рано знать, что это тяжело.

— Это не тяжело, — сказал Алёша. — Это бабушка.

И прижал пластинку к животу. Обеими руками.

Домой шли молча. Модест в сумке молчал. Гаша держала Василису за руку и хмурилась. Алёша нёс пластинку. Не отдавал.

На углу Ульяновской Модест высунул голову из сумки.

— Васёна.

— Мм?

— Я видел таких, — сказал кот. — Один раз. В тысяча восемьсот девяносто первом. В Самаре. Голодный год. — Пауза. — Ходил по городу человек. Без ниток. Покупал у людей вещи. Старые. Иконы. Письма. Обручальные кольца. За хлеб. Говорил — «освобождаю».

— И что было?

Модест помолчал. Долго.

— Не помню, — сказал он. И сам удивился. — Странно. Я всё помню. Я помню, какого цвета были ленты у Евпраксии Тихоновны на Пасху в восемьсот сорок четвёртом. — Он нахмурился. Насколько может нахмуриться кот. — А это — не помню. Как будто кто-то вырезал.

Он спрятался обратно в сумку.

А Василиса посмотрела под ноги. На тротуар Ульяновской.

Тротуар был тёплый.

Она чувствовала это даже через подошвы.

Глава 3. Реклама

Петя приехал во вторник. Один. Без колонны. Без Жанны Блеск. На рейсовом автобусе из Самары. С камерой в чехле, с рюкзаком и с папкой.

В папке был договор.

— Корм, — сказал Петя. Сел на табуретку. Положил папку на стол. Посмотрел на Модеста — Модест лежал на печке и делал вид, что спит. — Кошачий. «Мурлыка Премиум». Новая линейка. «Для котов с историей». — Пауза. — Они хотят Модеста. Лицом линейки.

С печки не донеслось ни звука.

Из-под печки донеслось:

— Ага!

Фрол Евсеич высунулся. В тельняшке из пушицы. С пультом в руке.

— Я говорил! — сказал он. — Говорил! Тридцать сметан — что предложат! Модест! Ты слышишь? Предложили!

— Я сплю, — сказал Модест с печки.

— Ты не спишь. У тебя ухо дёргается.

— Это рефлекс.

Петя посмотрел на печку. Потом на Василису.

— Он что-то сказал?

— Он думает, — сказала Василиса.

— Гонорар, — сказал Петя. Быстро. Как человек, который заучил текст в автобусе. — Двести тысяч. За один ролик. Тридцать секунд. Съёмка — здесь, в доме. Один день. Плюс — годовой запас продукции. — Он открыл папку. Достал банку. Маленькую. Плоскую. С фотографией упитанного рыжего кота на крышке. — Вот. Образец. «Нежные кусочки в сливочном соусе. С ноткой сметаны».

Модест открыл один глаз.

Посмотрел на банку. Долго.

— С ноткой, — сказал он.

— Что? — спросил Петя.

— С ноткой, — повторил Модест. С бесконечным презрением. — Сметаны. С ноткой. — Он закрыл глаз. — Двести двадцать один год. А мне — ноткой.

Василиса перевела. Смягчив.

Петя почесал лохматую голову.

— Они могут переписать, — сказал он. — Там гибко. Маркетинг. Скажут — «с настоящей сметаной».

— С какой?

— Ну… с настоящей.

Модест сел на печке.

— Жирность, — сказал он.

— Жирность? — переспросил Петя у Василисы.

— Он спрашивает — какой жирности.

Петя полистал папку.

— Тут не написано.

— Не написано, — повторил Модест. И снова лёг. Отвернулся к стене. — Пусть пишут. Двадцать процентов. «Сызранская». Или сорок. От Зорьки. — Пауза. — И чтобы на банке — не рыжий. Рыжий на банке — это оскорбление. Я с рыжими двести лет на одной улице не сижу.

— Пятьдесят сметан, — сказал Фрол Евсеич из-под печки, — что согласится. К пятнице.

— Сорок, — сказал Модест в стену, — что я не согласюсь.

— Соглашусь, — поправила Василиса.

— Вот и я о том, — сказал Модест.

Петя уехал в Самару. Звонить маркетологам. Через два дня перезвонил. Голос у него был такой, как будто он трое суток не спал. Он, впрочем, всегда так звучал.

— Переписали, — сказал он. — «С настоящей сметаной двадцатипроцентной жирности». На банке — чёрный кот. С белой манишкой. Они сказали — Модеста нарисуют. С фотографии. — Пауза. — Василиса Андреевна. Это первый раз за всю историю «Мурлыки», когда кот поменял им рецептуру.

— Он не простой кот, — сказала Василиса.

— Я знаю, — сказал Петя. Тихо. — Я помню.

Съёмку назначили на пятницу.

Фрол Евсеич выиграл пятьдесят сметан. Модест отдал молча. Сказал только: «Шулер». Фрол Евсеич сказал: «Мудрость».

Петя приехал с двумя гримёршами — Катей и Леной — и с режиссёром из Москвы. Режиссёра звали Ярослав. Ему было двадцать шесть. Он был в шапочке, хотя в доме было тепло. Он всё время говорил «давайте поищем».

— Давайте поищем, — сказал Ярослав, — образ. Кот — аристократ. Кот — мудрец. Кот, который видел всё. — Он присел перед Модестом на корточки. — Модест. Посмотри на меня. Ты — история. Ты — память. Ты помнишь царей.

Модест посмотрел на него. Долго.

— Я помню, — сказал он, — как в Самаре губернатора встречали. В восемьсот пятьдесят первом. С хлебом-солью. С оркестром. — Пауза. — Губернатора не помню. Я на него не смотрел. Я на пирожки смотрел.

Ярослав, разумеется, услышал «мяу». Но — значительное.

— Он понимает! — сказал Ярослав Пете. — Ты видел? Он понимает!

— Он всё понимает, — сказал Петя. — Он просто не всё одобряет.

Сценарий был простой.

Кухня. Утро. Солнце в окно. Кот на печке. Кот спрыгивает. Медленно. По-генеральски. Подходит к миске. Миска — фарфоровая, с синими цветами, бабушкина. В миске — «Мурлыка Премиум». Кот ест. Поднимает голову. Смотрит в камеру. Голос за кадром — бархатный, мужской: «Для тех, кто помнит вкус настоящего».

— Тридцать секунд, — сказал Ярослав. — Один дубль — и мы в Москве к ужину.

Модест спрыгнул с печки с первого дубля.

Медленно. По-генеральски. Солнце — в нужном угле. Подошёл к миске. Наклонился. Понюхал.

Поднял голову.

И посмотрел на Василису.

— Васёна, — сказал он. Растерянно. — А что я ем?

— «Мурлыку», — шёпотом сказала Василиса.

— Нет, — сказал Модест. — Вообще. Что я ем. Обычно. — Он смотрел на неё жёлтыми глазами. И в жёлтых глазах — Василиса видела — было что-то, чего она никогда в них не видела. За пять лет. — Я… я не помню.

На кухне стало очень тихо.

— Сметану, — сказала Василиса. — Ты ешь сметану. Двадцать процентов. «Сызранскую».

— А, — сказал Модест. — Да. Конечно. — Пауза. — Конечно.

Он опустил голову к миске. Поел. Красиво. Поднял голову. Посмотрел в камеру.

— Снято! — закричал Ярослав. — Гениально! Вы видели этот взгляд? Вы видели? Он как будто что-то вспомнил! Это — «Каннские львы»!

Петя за камерой ничего не сказал. Он смотрел не в видоискатель. Он смотрел на кота. Поверх камеры. Своими глазами.

Съёмочная группа уехала в Москву к ужину. Как и обещали.

Вечером Модест лежал на печке. Не спал. Смотрел в потолок.

Василиса сидела за столом с Гроссбухом. Записывала Кристину. Потом Зинаиду Павловну со значком. Потом Михеича с насосом.

— Васёна, — сказал Модест.

— Мм?

— Я сегодня забыл про сметану.

— Я знаю.

— Двести двадцать один год, — сказал Модест. — Я не забывал про сметану ни разу. Ни в Самаре, ни в Сызрани, ни в холеру, ни в войну. В блокаду не забывал бы. Если бы был в блокаду. — Пауза. — А сегодня — забыл.

Василиса закрыла Гроссбух. Подошла к печке. Погладила его. Между ушами. Он позволил. Это было само по себе тревожно.

— Это пройдёт, — сказала она.

— Не знаю, — сказал Модест. — Я тут лежу. Проверяю. — Он закрыл глаза. — Евпраксия Тихоновна. Дворянская улица. Дуняша с самоваром. Помню. — Пауза. — Потом Сызрань. Марфа. Затонная. — Он запнулся. — Потом свадьба. В семьдесят первом. Чья была свадьба, Васёна?

— Евграфа, — сказала Василиса. Тихо. — Круглова.

— Евграфа, — повторил Модест. — Да. Купеческий сын. — Он молчал. Долго. — А первую. Самарскую. Как я её назвал? Сейчас?

— Евпраксия Тихоновна.

— Да. — Модест открыл глаза. Посмотрел на неё. — Я её назвал. Минуту назад. И уже — проверял. И уже — не был уверен.

Из-под печки вылез Фрол Евсеич. Посмотрел на кота. Ничего не сказал. Ни про сметану. Ни про ставки.

Просто забрался на печку. Чего не делал никогда — печка была Модестова территория, это было записано в каком-то древнем, неписаном договоре между домовым и котом. Сел рядом. Положил тяжёлую, корявую, шерстяную руку Модесту на спину.

— Ты чего? — спросил Модест.

— Ничего, — сказал Фрол Евсеич. — Посижу.

И сидел. Всю ночь. Не включая телевизор.

Глава 4. Алёшины сокровища

У Алёши была коробка.

Из-под зимних сапог. Егоровых. Сорок четвёртый размер. Коробку Алёша нашёл в сарае в августе, долго нёс через двор — она была больше него, — поставил под свою кроватку и никому не разрешал трогать. Даже Гаше. Гаша однажды попробовала. Алёша ничего не сказал. Просто посмотрел. Гаша отошла. Это было удивительно: Гаша не отходила ни от кого. Гаша поднимала качели вместе со столбами.

Василиса думала — там машинки.

В субботу утром, пока Алёша ел кашу, она заглянула.

Машинок не было.

Был насос. Велосипедный. С фамилией, выцарапанной гвоздём на ручке: «КУЗНЕЦОВ». Михеич.

— Алёша, — сказала Василиса. — Это откуда?

Алёша посмотрел на насос. Потом на неё. Доел кашу. Вытер рот рукавом — Егоровская привычка, никто его не учил.

— Дедушка дал, — сказал он.

— Какой дедушка?

— Внизу. — Алёша слез с табуретки. Подошёл к коробке. — Он мне даёт. А я — отношу. — Пауза. — Михеичу отнёс. На крыльцо. Ночью.

— Ночью?! Ты выходил ночью на улицу?!

Алёша подумал.

— Не на улицу, — сказал он. — Снизу. Там близко. Под кроваткой — потом под Баюшкой — потом под домом — потом под дорогой — потом наверх. — Пауза. — Как в метро. Только темно.

Василиса села на пол. Рядом с коробкой.

Модест спрыгнул с печки. Подошёл. Заглянул в коробку. Через Василисино плечо.

В коробке было много.

Варежка. Детская. Красная, с белым оленем. Одна.

Ключ. Большой, бронзовый, с бородкой — от амбарного замка.

Очки. В роговой оправе. С одной треснутой линзой.

Пачка писем. Перевязанная бечёвкой. На верхнем конверте — «Полевая почта 48722. Шишкину Николаю». Штемпель — сорок третий год.

Обручальное кольцо. Тоненькое. Стёртое почти до нитки.

Маленький резиновый крокодил. Зелёный. С отгрызенным хвостом.

Тетрадка. В косую линейку. На обложке: «Тетрадь по чистописанию ученицы 2 „Б“ класса Лёшкиной Виты».

И фотография. Без рамки. Мужчина в военной форме. С орденом. Улыбается.

Тот самый. Из контейнера у «Момента».

— Это всё — дедушка дал? — спросила Василиса.

— Это — что потеряли, — сказал Алёша. — Давно. А это, — он показал на фотографию, — это не потеряли. Это выбросили. — Он нахмурился. Впервые — по-настоящему, как Гаша, как Евдокия Марковна. — Дедушка говорит — нельзя. Потерянное — к нему можно. А выброшенное — нельзя. Его слишком много. У него места нету.

Модест долго смотрел на коробку.

Потом осторожно, лапой, тронул крокодила с отгрызенным хвостом.

— Это Андрюшкин, — сказал он. Тихо. — Отца твоего. Семьдесят девятый год. Он его в Волге утопил. Купался с бабушкой у затона. Плакал. Агафья водяного просила вернуть.

Прохор сказал — «не у меня». — Пауза. — Я помню. — И замолчал. И добавил, тише: — Пока — помню.

Василиса взяла крокодила. Резиновый. Тёплый.

Нитка от него шла — к ней. Тонкая. Золотая. Через отца. Через бабушку. Через пятьдесят два года.

— Алёша, — сказала она. — А дедушка — он какой?

Алёша подумал. Долго. Поискал слово.

— Большой, — сказал он. — Пыльный. Мягкий. — Пауза. — Как бабушкин шкаф. Если в него залезть.

— Он злой?

— Нет. — Алёша покачал головой. — Он устал. — Ещё пауза. — И ему страшно.

— Чего ему страшно?

Алёша посмотрел на неё. Серьёзно. Не как трёхлетний. Как человек, который знает что-то очень важное и не знает, как это объяснить взрослым.

— Что его забудут, — сказал он. — Совсем. Тогда он — всё. Тогда всё, что у него, — всё. Насовсем.

В понедельник в студию «Отпусти» записалось восемьдесят человек.

Василиса узнала от Анжелы.

Анжела пришла в субботу, как всегда, с огурцами — теперь уже не пересоленными, она научилась. Села на табуретку. Поставила банку на стол. И сказала:

— Вася. Моя группа. Вязальная. Из дома культуры. — Пауза. — Половина ушла. К этой. К Лёгкой.

— Вязать?

— Отпускать. — Анжела помолчала. — Лидия Михайловна отнесла в контейнер альбом. Свадебный. Пятьдесят лет прожили с Виктором Иванычем. Виктор Иваныч в прошлом году умер. Она сказала — «тяжело смотреть». — Анжела посмотрела в окно. — А вчера пришла на вязание. Села. Взяла спицы. И спросила: «А я замужем была?»

На кухне стало тихо.

— Совсем не помнит? — спросила Василиса.

— Помнит, — сказала Анжела. — Если сказать. Скажешь — «Виктор Иваныч» — она: «А, да. Витя. Конечно». — Пауза. — А сама — не вспоминает. Как будто кто-то вынул. И положил на дальнюю полку. И ключ потерял.

Анжела помолчала. Потом посмотрела на Василису. Внимательно.

— Вася. Я двадцать лет на это потратила. Я — помнишь? — удачу у людей воровала. Камнем. — Она говорила ровно. Она всегда говорила об этом ровно — с того самого октября, с огурцов. — И я тогда думала — у них много, не убудет. А у неё, у Лёгкой, — она не ворует. Она людям говорит: «отдайте сами». И они отдают. Сами. И им — легко. — Пауза. — Вот это — страшнее. Камень я хоть держала. В руке. А она — ничего не держит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.